

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-25
В русском жанре – 85

””

Ежедневно, проходя соседней улицей Генриха Гейне¹, я стучу себя по лбу и обещаю оживить в увядшей голове то немногое, что мне известно и понятно в великом писателе. Есть же у меня том его сочинений из серии «Библиотека классики» (1989). Открою-ка его. Как там у Саши Чёрного?

*Взял Маркса. Поставил на полку.
Взял Гёте. И тоже назад.
Зевая, подглядывал в щёлку,
Как соседка пила шоколад.*

Всё равно ведь Гейне в мозгу намертво привязан к статье Александра Блока «Ирония». С иронией-то мне всё ясно, Блок писал, страхась и ненавидя в себе ироническое начало, но отчего он увидел оплот её именно в Гейне, неужели только из-за его еврейского происхождения?

Том открылся на стихотворении «Крик сердца»:

*Нет, в безверье толку мало:
Если бога вдруг не стало,
Где ж проклятья мы возьмем, –
Разрази вас божий гром!*

*Без молитвы жить несложно,
Без проклятий – невозможно!
Как тогда нам быть с врагом, –
Разрази вас божий гром!*

*Не любви, а злобе, братья,
Нужен бог, нужны проклятья,
Или все пойдёт вверх дном, –
Разрази вас божий гром!*

Так сошлось, что почти одновременно в воспоминаниях Гонкуров о Тургеневе я прочитал, как Гейне, уже на смертном одре, «обращаясь к жене, которая тут же рядом молила Бога помиловать его, сказал: “Не бойся, дорогая, он меня помилует, ведь это его ремесло”». Сразу пришёл на память покойный приятель мой Володя Глейзер, всегда умевший смешно, но не цинично реагировать даже и на могильные темы. Разве это дурно?

””

Вообще же стихов я читать не умею и не люблю. Не поэзию не люблю, а процесс её потребления. Всегда было непонятно какое-то стихотворное наваждение, овладевающее целыми группами людей,

¹ Моим читателям известно, что седьмой год я обитаю в посёлке, строившемся для возвращающихся из ссылки 1941 года на места бывшего, с Екатерины II, пребывания российских, а потом советских немцев, которых местная власть во главе с Д. Аязковым выдавала вон под лозунгом «Не бывать второму немецкому вторжению».

Когда-то мой друг Илюша любил разгадывать какой-нибудь образ раннего Пастернака, искать объяснение его строк в реальности: ну, чем, к примеру, вызван образ «*прижимаюсь щекой к воронке завитой, как улитка зимы*» и т.д. Но это было в старшекласном детстве, хотя я тогда и простых вещей не пытался объяснить. Да и потом, подобно Онегину, не мог ямба от хорея отличить, что постыдно для выпускника филфака, правда знаю, что не я один.

Дома стихов не читали, но и у Илюшки, да ни у кого в семьях их не читали! Куда важнее кажется то, что у нас не пели. Ни бабушка, ни мама, ни отец, ни брат даже не напевали. А так как и гостей не бывало, то не раздавался, как у дворовых соседей, застольный хор.

Смешно вспоминать, но волшебства поэзии впервые и сразу вдруг открылись мне из случайно купленного на уличном лотке тома Эдуарда Багрицкого в БП. Потом притянул поздний Есенин и ранний Маяковский той же вещностью, своим, так сказать, акмеизмом. Потом я очень прозрел на Державине и, словом, довольно поздно понял, вернее почувствовал, что стихи и не должны быть понятны.

И задумался о тайне рождения стихов и их создателей, которых ежедневно видел и знал со всяких сторон, не в силах понять, как и что заставляет человека предаваться смешному занятию рифмовки. Вот тот же редакционный Благов Николай, пыхтя папиросой, расхаживает огромными ногами по нашему кабинету, а вот рассказывает за выпивкой мне и Борису Дедухину про мужика в их селе, известного такой гигантской елкой, что ни одна баба не могла не пёрнуть, а на подколы серьёзно заявляет, что этот факт доказан.

*Зима стоит такая россиянка!
Опять кипит невпоровот пурга.
Склонившись, как над прорубью крестьянка,
Луна полощет длинные снега.*

Я понимаю, что строки Благова это поэзия, но как объяснить их появление в той же черепной коробке, что и мужика с елкой? Встречая множество стихотворцев, о стихах писать я удерживался, лишь одного из них пытался набросать типологический портрет¹. С немногими, как Евгением Рейном или Алексеем Алёхиным, дружил, других, как Веру Павлову или Ольгу Седакову, воспринимал лишь сквозь призму впечатления от их текстов, третьих, тоже знакомых, воспринимал как памятники войне – Михаила Дудина или Владимира Жукова. Бывало, знакомился с известными не публике, а коллегам, как мастер верлибра Павел Бурич, сосед друга моего Олега Михайлова и одновременно муж старухи-переводчицы Музы Павловой, его пережившей.

Всё это не исключало, а усугубляло моё чисто редакторское высокомерие: стихи пишете, ну-ну... И я давно что называется, забил на поэзию и поэтов, чего, увы, и не стыжусь.

...

Живший после войны в Саратове успешливый советский романист Григорий Коновалов (1908–1987), до войны столь же успешно выходивший даже из таких чреватых ситуаций, как та, что арестованный Бабель назвал его на лубянском допросе в числе друзей дома, был отменным лицедеем. С возрастом нарастил маску добродушного деда из казаков, не слишком вникающего в мелочи современности. Умел в этой роли вдруг приподнять с лица маску добродушия и, выкатив тяжёлый взор, недобро продекламировать:

*Мы бросим народам
Грозу и пламя,
Несущие смерть
Чингисхана сыны,*

¹ См.: Советский поэт // Волга. 2021. №3-4.

*Пески сорока
Пустынь за нами
Кровью убитых
Обагрены.*

*«Рубите, рубите
Молодых и старых!
Взвился над вселенной
Монгольский аркан!»*

Ликом при этом делался точь в точь Ефим Копелян в ролях белых атаманов, что производило должное впечатление на молодых писателей и руководящих чиновниц, дивящихся дедовой образованности. Откуда им было знать, что страшный призыв Чингисхана саратовский классик почерпнул из исторических романов Василия Яна, много издаваемых и популярных в среде интеллигенции. Прочитав в юные читательные года довольно складно написанный роман «К последнему морю», потом я этим писателем не интересовался, а сейчас был немало впечатлен, узнав о его богатой биографии (1874–1954). Вот из Википедии:

В 1899–1901 годах совершил пешее путешествие по Европейской России и губерния Малороссии, побывал в Великобритании <...>, в 1903–1904 годах побывал в длительной командировке по Хивинскому ханству и Бухарскому эмирату, Ирану и Афганистану. Во время Русско-японской войны был корреспондентом на Дальнем Востоке <...>; стоял у истоков скаутского движения в России <...>, был награждён орденом Святой Анны III степени с мечами (1905) и орденом Святого Станислава II степени (1914). В 1918 году вернулся с семьей в Россию. В 1918–1919 годах служил в Белой армии Колчака редактором фронтовой газеты и начальником бюро пропаганды».

Согласитесь, впечатляет, особенно если добавить, что он стал одним из первых лауреатов Сталинской премии за 1941 год.

””

Когда я сообщил моему другу Гоге Анджапаридзе, что букеровскую премию за 1996 год дали Андрею Сергееву, он проворчал, что тот переводит стихи с английского, а не романы пишет. Вообще история русского Букера причудлива. Изначально предполагалось, что ею награждают только романы, но вышло, что произведения Марка Харитонова, Булата Окуджавы, Александра Морозова или полного инвалида детства Рубена Давида Гонсалеса Гальего и др. подбирались по непонятному читающей публике явно не жанровому принципу. «С самого начала у букеровского сюжета не получилось завязки, не удалось посредством премии выдвинуть лидера, которого современным прозаикам страстно захотелось бы догнать и перегнать» (Вл. Новиков).

А меня тогда доброжелательные московские коллеги каким-то образом засунули в букеровский комитет.

«Непосредственное руководство деятельностью премии осуществляет Букеровский комитет, который собирается четыре раза в год. Состав комитета подлежит постепенной ротации. В комитет входят видные писатели, представители литературной общественности, деятели культуры. Комитет устанавливает правила конкурса и приглашает членов жюри, состав которого меняется каждый год. С расширением деятельности премии и появлением дополнительных проектов Комитет вырабатывает их стратегию, а его члены содействуют их осуществлению» (РИА Новости. 16:07. 02.07.2008).

Смешно, но москвичи нас называли комитетчики, словно работников ГБ. Алла Сергеевна Демидова, которой я представился, сидя рядом на одном из обедов, окинув взглядом соседей, подозрительно спросила: «А это тоже комитетчики?» Слово, однако.

Вообще знаменитых гостей на этих обедах поначалу бывало много. В «Метрополе» в красно-бархатном медленном лифте вошедший туда высокий господин поздоровался, и моя жена спросила: «Откуда я его знаю?» – «Это народный артист СССР Владимир Васильев», и т.д.

Но и проживание с жёнами в «Метрополе», и череда звездных гостей были только поначалу. Недавно в книге обнаружил карточку отеля у метро «Аэропорт», принадлежащего какой-то компании М. Горбачева. Очень, очень тепло помню, как пригласил туда жившего где-то неподалеку Женю Рейна. Выпили мы бутылку привезённой мной саратовской водки «Что делать?», закусывая бородинским хлебом, и когда на прощанье протянул ему с собой такую же бутылку, он сказал: «Хлеба дай, хлеб хороший». Мне было лень снова идти в магазин, и я разделил кусок, в чём потом каялся.

Менялись и финансовые хозяева премии. Особенно волнующим для выпивохи было, когда с 1997 по 2001 год спонсором выступала шотландская компания виски UDV, частью которой является Фонд имени Петра Смирнова. В этот период премия стала называться Smirnoff-Букер. А когда, и тоже ненадолго, спонсором стала «Открытая Россия», т.е. «Юкос», я увидел на заседаниях комитета господ, которых имён и называть не стану.

Работа наша и особенно состав жюри и, соответственно, его решения разнообразно критиковались в основном патриотами-государственниками за приверженность модернизму, кумовство и небрежение идеями патриотизма. Да и вообще, сила Букера была в его первости, после десятилетий торжества сталинских-ленинских-государственных премий.

...

А книга Андрея Сергеева «Omnibus. Роман, рассказы, воспоминания» (Новое литературное обозрение, 1997) у меня жива, там на титульном листе имеется авторская надпись «Дорогому Сергею с лучшими пожеланиями», а на его обороте аннотация. *«Эта книга – первое полное собрание прозы известного переводчика и поэта Андрея Сергеева, в 1996 году получившего Букеровскую премию за роман “Альбом для марок”. Кроме этого романа в книгу вошли рассказы и “рассказики” о выдуманных и невыдуманных людях (Б. Слуцкий, Е. Винокуров, М. Зенкевич и др.), воспоминания о И. Бродском, с которым автор был многие годы дружен».*

Аннотация завлекательная, но тексты, несмотря на постоянные матюки, слишком гладкие, словно автора заставляли писать. Нет, есть всё, что положено мемуарам. Московское детство, дачные впечатления, открытия секса, учёба во ВГИКе и т.д. И – всё одинаково скучно. С начала и до конца везде вылезает коллекционерская натура автора, длинные перечни, скажем, детских похабных поговорок, или описания старинных монет. А для знакомств, для людей красок Сергееву не хватало, из-за чего так плоски в «романе» даже Ахматова или Бродский.

Я выделю связанное с Саратовом имя поэта Михаила Зенкевича, который вплетался именем в богатый клубок поэзии Серебряного века, став одним из основателей акмеизма. Человек прожил долгую (1886–1973) жизнь, его миновали репрессии, с кем он только не встречался, а почему-то остались лишь немногие следы его вроде того, как вместе с Булгаковым безуспешно претендовал на квартиру в Лаврушинском или с Дмитрием Кедриним пил пиво в день его таинственной гибели. И всё. Литературоведы в т.ч. и Саратова, где он родился, а в 20-е годы работал, насколько знаю, им не занимались. Есть недобрый, но конкретный отзыв в первой советской литературной энциклопедии (том 4, 1930). *«Продолжая традиции акмеистов З. является вместе с тем одним из представителей русской “научной” поэзии. <...> природа, взятая космически (геологические и палеонтологические картины) противопоставлена человеку, ничтожному и бессильному Нарочитое выпячивание “плоти”, тяжелой и прожорливой, придает его поэзии пессимистический оттенок, приводит З. к характерному для буржуазной интеллигенции сознанию бренности и непрочности всего земного».*

У меня было Зенкевича «Избранное» (1973), помню даже его зеленый переплёт, где не скажу поразили, но впечатлили натуралистичные строки, где бушевала плоть, переплетаясь со смертью и тлением. И я вспомнил о них, когда в 1978 году мы, читатели Валентина Катаева, расшифровывали прозвища, данные персонажам книги «Алмазный мой венец», тексты которых он много цитировал, и среди них Колченогого-Нарбута:

*Ну, застрелюсь. И это очень просто:
Нажать курок, и выстрел прогремит.
И пуля виноградиной-наростом
застрянет там, где позвонок торчит,
поддерживая плечи – для хламид.
А дальше – что?
Поволокут меня
в плетущемся над головами гробе
и, молотком отрывисто звеня,
придавят крышку, чтоб в сырой утробе
великого я дождался дня.*

Когда «чужой ВГИКу» Сергеев решил стать переводчиком, ему помог Зенкевич, про которого подытожено так: «Поэт стал тенью. Шляхетское благородство и выучка “Цеха поэтов” спасли его от судьбы Олеси. <...> главная его заслуга в бытии тенью – он первым открыл для русских современные стихи Англии и США».

У моего друга Алексея Голицына есть дядя по отцу. Принимая Лёшу в «Волгу», я и не знал, что он племянник моего доброго приятеля Андрюши Лопато. Андрей был завидно беспутен. Способность не огорчаться обстоятельствами и родными-близкими – что может быть прекраснее. Он как-то и без профессии обошёлся, где-то поучиваясь и находясь на службе в разгульнейшем месте – комсомольских органах, а точнее в ихнем «Спутнике», как именовалось учрежденное в оттепельное время бюро международного молодёжного туризма. Трудно понять, чем «спутники» занимались в закрытом для иностранцев Саратове кроме формирования групп туристов из близких и родственников своих, начальства и блатных.

Потом он женился, и нас наставлял, дескать, я не абы как, не как вы, а присмотрел девочку шестнадцати лет, дочь директора завода, следил за ней внимательно, воспитывал помаленьку, чтобы без сюрпризов...

Но когда вдруг был брошен молодой женою, без видимых сожалений переженивался то на Балашов, то на столицу. И вот как-то Илья мне сказал, что Лопато вскоре прибудет отмечать своё сорокалетие, стоял, стало быть, на дворе год 1988-й.

Мне пришло в голову попытаться порадовать и Андрюшу и Илюшу неожиданным подарком.

Тогда я успешно сотрудничал с газетой «Саратов», а там непосредственно с Лерой Каминской, которой на голубом глазу предложил текст «Мастер досуга», где сообщалось о скором прибытии из столицы нашего земляка, несравненного организатора всяческих развлечений Андрея Лопато. Разумеется, не уточнялось, что под развлечениями имелось в виду пьянство и секс, и текст был опубликован, чем я какое-то время гордился.

Хорошая была газета. Как-то в бытность мою в фейсбуке на мои воспоминания о поэте Исае Тобольском откликнулся из Израиля её бывший редактор Борис Плохотенко.

В один день, 25 апреля 2004 года, под рубрикой «Новости» в «Независимой газете» рядышком появились такие информации.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРУ Саратовской области Юрию Моисееву может быть предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. 23 апреля по решению следователя ГУВД Саратовской области Моисеев был задержан по подозрению в избиении жителя Балтайского района Виталия Гладышева. Как сообщает ИА «Саратовбизнесконсалтинг», поводом для ареста чиновника, являющегося племянником губернатора Дмитрия Аяčkова, послужила опубликованная в среду в

газете «Репортер» статья «Разыскивается особо опасный вице-губернатор». Как сообщила «НГ» старший помощник прокурора области Нина Геллерд, уголовное дело, прекращенное в 1999 году из-за отказа свидетелей от своих показаний, снова передано в ГУВД области.

ЛИДЕР НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ писатель Эдуард Лимонов, приговоренный Саратовским судом к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия, может выйти на свободу уже 25 апреля, передает агентство «Новый регион». По словам адвоката Лимонова Сергея Беляка, сейчас обжаловать приговор Лимонов не собирается. Он надеется на условно-досрочное освобождение, на которое позволяют рассчитывать «заслуги писателя и его немолодой возраст».

В те дни в саратовских редакциях передавали новость, что знаменитый писатель, находясь в энгельской тюрьме, был особо впечатлен продуктовыми посылками, которые получал его однокамерный племянник саратовского губернатора. В книге Лимонова «По тюрьмам» читаем:

«Два раза в неделю дядя Юра получает дачки. Консервы, сало, колбасу, белый хлеб, пачки масла, халву и прочая. Он всякий раз ждет дачку и нервничает. Он вскакивает с постели при малейшем шорохе за дверью и всегда слышит, как разносят мешки и его мешок приземляется рядом с нашей дверью на продоле. Если дачка вдруг запаздывает на день, (а такое случалось дважды), дядя Юра ругает дочерей проститутками. Помимо жены, от которой у дяди Юры две взрослые дочери, у него есть баба помоложе, от нее у дяди Юры шестилетний сын. Все это разветвленное семейство и хозяйство, оставленное на свободе (есть еще мама, ее дом, новая недостроенная дача), не дают дяде Юре покоя и побуждают его строить самые немислимые планы. Часто по утрам он вспоминает свою чиновничью жизнь: подробно описывает массажи, маникюры, гинекологов жены и любовницы. Он бывший лабух, и антрепренер, и массовик-затейник».

Хоть дядя Юра это и не губернаторский племянник Моисеев, а саратовский министр культуры Юрий Грищенко, который попался на взятке, совмещение имён не случайно, думаю, архетип обоих одинаков, различие лишь в их родне, из-за чего Грищенко с высот исчез, а хулиган Моисеев на каких только должностях потом не был. Вот к примеру: «Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов». Каково?

Про возглавляемый с тех пор бабами саратовский минкульт доброго сказать нечего, а постоянные из-за полной их некультурности конфузы, за которые тётки перемещают с одного руководящего места на другое, ещё противнее, чем воровство.

...

Я всё больше и уже просто безмерно наслаждаюсь Тургеневым. Вот о похоронах героини повести «Несчастная» (1868).

«Тонкая крупа сеялась с низкого неба, мороз стоял небольшой, готовилась оттепель, но в воздухе ходили резкие, неприятные струи... Самая была великопостная, простудная погода. <...> Служба уже отошла: священники, — из коих один имел камилавку, а другой, помоложе, очень тщательно расчесал и примаслил волосы, — появились вместе с причтом на крыльце. Вскоре показался и гроб, несомый кучером, двумя дворниками и водовозом. Г-н Ратч шел сзади, придерживаясь концами пальцев за крышку, и все твердил: «Легче, легче!» <...> Носильщики, кряхтя и перекоряясь, поставили гроб на дроги; гарнизонные солдаты зажгли факелы, которые тотчас же затрещали и задымались, раздался плач забредшей салопницы, дьячки запели, снежная крупа внезапно усилилась и завертелась «белыми мухами», г. Ратч крикнул: «С богом! трогай!» — и процессия тронулась. Кроме семейства г. Ратча, провожавших гроб было всего пять человек: отставной, очень поношенный офицер путей сообщения с полинялою лентой Станислава на шее, едва ли не взятый напрокат; помощник квартального надзирателя, крошечный человек, с смиренным лицом и жадными глазами; какой-то старичок в камлотовом капоте; чрезвычайно толстый рыбный торговец в купеческой синей чуйке и с запахом своего товара, — и я».

Затем мужчины «отправились гуртом в трактир».

И здесь позволю крайне важное мне соображение в отношении Тургенева, слывшего, как известно, либералом-западником. И, надо заметить, что при своём появлении и всегда потом повесть «Несчастная» непременно сопоставляли с творчеством Достоевского. И сейчас внимательные читатели продолжают: *«Как известно, Тургенев и Достоевский друг друга недолюбливали. А временами довольно резко друг о друге высказывались. Тем забавнее мне было читать “Несчастную” – казалось, написал её не Тургенев, а как раз Достоевский»* (panda007, 6 ноября 2014, mybook.ru).

Дело в том, что в первом, напечатанном в журнале «Русский вестник» варианте, поминки по Сусанне завершались явлением загадочного Меркула Цилиндрова, избивающего отчима Сусанны негодяя Ратча по воле её покойного возлюбленного Мишеля. И в дальнейших публикациях Тургенев убирает вовсе из повести фигуру романтического мстителя со странной, в самом деле достоевской, фамилией Цилиндров, и вот как завершает сцену поминок.

«Лица раскраснелись, голоса загомонели, смех вступил в свои права; стали раздаваться восклицания порывистые, слышались ласковые наименования вроде: “братца ты моего миленького”, “душки ты моей”, “чурки” и даже “свинтуса этакого”; словом, посыпалось все то, на что так щедра русская душа, когда станет, как говорится, нараспашку. Когда же наконец захлопали пробки цимлянского, тут уже совсем шумно стало: некто даже петухом прокричал, а другой посетитель предложил изгрызть зубами и проглотить рюмку, из которой только что выпил вино. <...>

– Стойте! Господа! – закричал внезапно чей-то хриплый голос на конце стола, – у меня сейчас кошелек украли!

– Ах, мошенник! – запищал другой голос, и – бац! раздалась пощечина.

Господи! Что тут произошло! Точно дикий зверь, который до тех пор лишь изредка ворчал и шевелился в нас, вдруг сорвался с цепи и встал на дыбы, во всей безобразной красе своего взъерошенного загривка. Казалось, все тайне ожидали “скандала”, как естественной принадлежности и разрешения пира, и так ринулись все, так и подхватили... Тарелки, стаканы зазвенели, покатались, стулья опрокинулись, поднялся пронзительный крик, руки замахали по воздуху, фалды взвились фалды, и завязалась драка!

– Луи его! Луи его! – заревел, как иступленный, мой сосед, рыбный торговец, казавшийся до того мгновенья самым смирным человеком в мире; правда, он выпил в молчанку стаканов десять вина. – Луи его!..

Кого лупить, за что лупить, он не имел понятия, но ревел неистово, даже на самого г. Ратча накинута.

– Уморил девку, немчура треклятая, – закричал он на него, потрясая кулаками, – полицию подкупил, а теперь куражишься?!

Тут прибежали половые...

Что произошло дальше, я не знаю; я поскорей схватил фуражку, да и давай бог ноги! Помню только, что-то страшно затрепало; помню также остов селетки в волосах старца в капоте, поповскую шляпу, летевшую через всю комнату, бледное лицо Виктора, присевшего в углу, и чью-то рыжую бороду в чьей-то мускулистой руке... Это были последние впечатления, вынесенные мной из “поминального пира”, устроенного любезнейшим Сигизмундом Сигизмундовичем в честь бедной Сусанны».

Да, славяно-церковно-державно-патриотично настроенным гражданам что Российской империи, что Российской Федерации Иван Сергеевич Тургенев своим быть не может.

Есть у него рассказ «Собака» (1864). Эта быстро, за два дня написанная история явления рассказчику призрака не бывшей в реальности собаки, его граждански ориентированных современников удручила полным отсутствием социальности. П.В. Анненков писал автору: «...не понимает публика наша возможности простой, невыдуманной, просто сказавшейся вещи у писателя». Лишь Чехов через три десятка лет восхитился «Собакой».